А.И. Куприн



Груня

рассказ

Груня
Александр Иванович Куприн

Аннотация
Александр Иванович Куприн. Груня
Примечания

Аннотация

Молодой писатель Гущин по совету успешного коллеги решил изучать народную жизнь, и отправился речным пароходом в провинциальный городок Весьегонск, где жили его родители.

На палубе он пытается познакомится с девушкой Груней, с целью приятно провести время. Но, на страже чести и достоинства девушки стоит её дядя — громадный и неотёсанный мужик, похожий на разбойника…

Иллюстрации В. Сварога и И. Глазунова.

Александр Иванович Куприн
Груня



Молодому писателю Гущину посчастливилось. В этом году он сумел пристроить в еженедельники три новеллы, ноктюрн, два психологических этюда, сюиту (он и сам не знал, что значит это слово) и пять стихотворений, из которых одно — сонет в двадцать четыре строчки — обратило даже внимание мелкой критики в отделе «С бору по сосенке». Сам великий Неежмаков за десятым стаканом чая с лимоном и выборгским

кренделем сказал ему на своем замечательном волжском наречии:

— Ты, брат, Коляка, вот этого… как оно… Работать ты можешь… выходит у тебя совсем гожо… Только, брательник, надоть, когда пишешь, в самое, значит, в нутро смотреть, в подоплеку, стал быть, в самую, значится, в гущу… Ого-го-го… Гущин в гущу… Выходит вроде как каламбур. Надо, отец, знать, о чем пишешь, до самой основы, до мелочи, чтобы чисто было. Чтобы ни тинь-тили-ли, ни за веревочку! Язык изучай, обычай, нравы, особенности. Ты вот этого… как оно… помнишь, как у меня в «Иртышских очерках» написано? «Аида с андалой на елань поелозить». Что это значит? В том-то, брат, и уксус! По-российски выходит в переводе: «Пойдем с дружком на лужайку побродить». Вот оно — настоящее изучение языка. Так и ты, благодетель. Прильни ты, знашь, к земле, к самой, значит, к ее пуповине, к недрам, к сосцам благим, и соси, подобно младенцу. Чаю больше не хочешь? Тогда прощай. Мне пора за романище мой проклятущий. Поезжай, дружище, в провинцию, погляди, понюхай, пожуй, и

обновится, аки орля, юность твоя...[1] А то у тебя как будто и хорошо, и ладно, и баско, и прочее тому подобное, а все как-то по-стрекозиному... Ну, гряди, чадо!

Неежмаков носил голубую бархатную блузу с отложным воротом и с пышным белым креп-дешиновым бантом на шее. Гущин приобрел коричневый вельветиновый пиджачок, а к нему белый батистовый галстук-самовяз. Подобно Неежмакову, он завел пенсне и отпустил длинные светлые волосы, которые еще больше придали девического характера его малокровному лицу калмыцкой богородицы. Выйдя после дружеской беседы на улицу и подумав немного, он решил последовать совету великого учителя: прильнуть к пуповине.

В глуши Весьегонского уезда служил урядником его отец. Гущин всегда скрывал отцовскую профессию. «Я сын пастуха», — говорил он со скромной поэтической гордостью и даже упоминал об этом в одном хромом стихотворении: «Сын пастуха, я знаю край родимый». Очень приятно щекотала мысль показаться семье, соседям,

---

[1] Примечания: 1

...и обновится аки орля юность твоя... — перефразировка выражения из библии: «А надеющиеся на господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы...»

знакомым писарькам и поповнам. Когда-то все знали его сонливым мальчишкой при волостном правлении, а теперь — подите-ка, выкусите, известный писатель, со знаменитостями на «ты», вся Россия его читает. И слова какие звучные он будет употреблять: редактор, гонорар, корректура, метранпаж, гранки, купюры, матрица, линотип.

Поездка сложилась удачно. До станции Бологого он выклянчил бесплатный билет второго класса у знакомого писателя, служившего в отделе невостребованных грузов; от Бологого до Рыбинска пришлось заплатить пустяки в третьем классе, а от Рыбинска до Весьегонска ему дал даровой каютный проезд его дядя, односельчанин Куропаткин, который зимою скупал у мужицкой бедноты пеньку, веретена, дуги, масло, лен, а летом служил агентом в пароходном крестьянском обществе, пускавшем два маленьких пароходишка от Рыбинска до Устюжны и обратно.

Гущин не вышел еще из того прекрасного возраста (из которого иные, впрочем, не выходят до пятидесяти лет), когда человек в природе и в людях ничего не находит интереснее, значительнее и красивее себя. Поэтому в вагоне — и вчера вечером, и сегодня днем — он сумел разговориться с

несколькими пассажирами — с той легкостью, которая так присуща железнодорожным встречам. Гущин всегда смертельно скучал, если собеседник говорил о самом себе, и вдвое тосковал, когда разговор касался вопросов отвлеченных или общественных. Поэтому он ловким приемом сворачивал речь на себя. Например, кстати вставлял небрежное замечаньице: «Ужасно утомляешься за зиму и так рад отдохнуть», или:

«Ни на ком так тяжело не отзываются теперешние условия, как на нас»; или еще: «Это хорошо говорить людям двадцатого числа»[2]. Или он внезапно проявлял необычайную осведомленность о составе редакций и о слабостях громких писателей. Неизбежно вытекал робкий вопрос:

«А вы сами, извините за нескромность, чем изволите заниматься?» И следовал лицемерно-застенчивый ответ:

«Да как сказать… Я не знаю, назвать ли это даже профессией… Я, видите ли, писатель… Гущин — моя фамилия». — «А-а-а! Очень, очень приятно. Как же, как же… Отлично вспоминаю. То-то, я вижу, лицо будто бы знакомое. Вероятно, портреты

[2] Примечания: 2

Это хорошо говорить людям двадцатого числа. — Двадцатое число — день выплаты жалованья в государственных учреждениях царской России.

ваши встречал в иллюстрациях?.. Чрезвычайно лестно познакомиться с настоящим писателем. А позвольте спросить...»

И начиналось. Правда, много, ужасно наврав зевавшему спутнику и наконец расставшись с ним, Гущин всегда чувствовал жестокий приступ моральной тошноты и скверный вкус в душе, но воздержаться от этих волнующих, пьянящих ощущений, вызываемых чудовищной жаждой известности, или остановиться на полпути в истерическом лганье — он не хотел, не умел, не мог.

Иногда в промежутки болтовни он случайно возвращался к мысли: «А ведь я еду наблюдать жизнь. Надо не терять времени. Подмечать каждую черту лица, каждый жест, ловить всякое меткое словечко». И усилием воли заставлял себя прислушиваться к мимолетным беседам в купе, в коридорах, на тормозах. Но говорилось все такое неинтересное...

Занял его внимание на минуту раненый поручик с офицерским «Георгием». У него вокруг глаз и на висках была разлита странная, особенная, вялая желтизна, а сами глаза, встречаясь с другими глазами, глядели не в них, а куда-то насквозь, вдаль, туда, в недавнее пережитое, — желтизна и взгляд, свойственный людям, которые в течение

многих и многих дней, без сна и без пищи, терпели то, что превышает пределы даже невероятной человеческой выносливости, ежеминутно видя смерть перед глазами, ожидая ее.

Гущин все думал: «Вот, вот сейчас начнется захватывающее: визг бомб, бубуханье шрапнелей, татаканье пулеметов, знамя, пламенная, короткая, как блеск молнии, речь офицера, бешеное „ура“, упоение битвы…» Ничуть не бывало.

Лениво посмеиваясь, то и дело сдувая пепел папиросы себе на рейтузы, офицер говорил спутнику, серьезному, седому, бритому человеку:

— А они нас за четверть версты из пулемета… Прямо передо мною, в пяти шагах… как бы тебе это передать?.. Ну, вот точно кто-то взял и стегнул через все поле огромным стальным хлыстом… Понимаешь — черта, и пыль взвилась! Я добежал.

Не испугался. Нет. Какой тут испуг, когда главный ужас уже преодолен. Просто обалдел. Остановился только на секундочку. Перекрестился и скок через черту. И вперед. А вокруг шум, грохот, беспорядок. Потом оглянулся назад, на роту.

Смотрю, а они все, как бараны, через ту же самую черту скок да скок. Но я обо всем этом вспомнил тогда, когда мы уже взяли окоп. Вспомнил и, лежа, захохотал.

А из солдат никто этого не помнил. Впрочем, и я тоже — о том, как мы выбили их из окопа, хоть убей меня, не помню! Ну вот ни на столечко.

«Вот что значит не художник, — свысока подумал Гущин. — Никчемную мелочь запомнил, а главного не уловил».

День падает к вечеру… Жалят комары. Воздух мреет и парит. От пароходной трубы воняет машинным маслом и краской. Вот уже более шести часов Гущин слоняется одиноко по палубе. Иногда заходит в гостиную (она же столовая), в каюту, в нижнюю палубу третьего класса. Заглянул мимоходом в машинное отделение и убежал от нестерпимой жары. Скучно ему. Ни одного интеллигентного пассажира. На корме, прямо на полу, сидят кружками мужики, едят руками селедку с хлебом и луком и запивают водой, почерпнутой тут же из-за борта пароходным ведром. Разговор тяжелый, вязкий: о покосах, недоимках, пайках, о рожающих бабах, арендателях, земских начальниках, агрономах. Серый, мужичий, вперемежку с скверной бесцельной бранью, разговор, который теперь совсем непонятен, дик и противен Гущину.

Тоска!

В одиннадцатом часу утра за пристанью Чиско-

во он уже съел порционную стерлядку. Недурно, хотя и отзывает нефтью. Но на пароходе пища всегда легко утрясается и аппетит возобновляется быстро. Разве поесть? Гущин развертывает свою записную книжку, куда записывает бережно все расходы. В нем сказывается врожденный расчетливый мужицкий ум. «Бегут деньги по копеечкам, а потом хвать-похвать и сам не знаешь, куда рубли разошлись». Да и от природы Гущин скуповат. В Петрограде за даровую комнату и сто рублей в месяц он ведет книги двух больших шестиэтажных домов, зарабатывает немного у Неежмакова перепиской, дает небольшие отчеты и заметки в газету и умеет откладывать кое-что про черный день.

«Нет, — думает он, пряча со вздохом записную книжку. — Лучше попью чайку с ситным, а к вечеру видно будет».

Заря пламенеет на небе и в воде. Завтра будет ветреный день. Приречные кусты черно-зеленые. В дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу. Где-то в лужках или на болотах звенят ровным дрожащим хором лягушки. Воздух еще легко прозрачен.

На левом борту, на белой скамейке сидит де-

вушка. Гущин раньше не замечал ее, и внимание его настораживается. На ней черное гладкое платье с широкими рукавами, а черный платок повязан, как у монашенки. К женщинам Гущин по природе почти равнодушен, но в обращении с ними труслив и ненаходчив. Однако он подтягивается и несколько раз проходит взад и вперед мимо девушки, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи, слегка раскачиваясь на каждой ноге и грациозно склоняя голову то на один, то на другой бок.

Наконец он садится рядом, кладет ногу на ногу и правую руку на выгнутую спинку скамейки. Некоторое время он барабанит пальцами и беззвучно насвистывает какой-то несуществующий фальшивый мотив. Потом крякает, снимает мешающее ему пенсне и поворачивается к девушке. У нее простое, самое русское, белое и сейчас розовое от зари лицо, в котором есть какая-то робкая, точно заячья прелесть. Она чуть-чуть курносенькая, губы пухлые, розовые, безвольные, а на верхней губе наивный молочный детский пушок.

Гущин набирается смелости и спрашивает особенным, вежливым, петроградским тоном:

— Извините меня, пожалуйста. Не знаете ли

вы, какая будет следующая пристань?

— Иловня.

Название звучит у нее, как мягко взятый, высокий гитарный тон. Таким прекрасным может быть человеческий голос только вечером, в чистом воздухе, на воде.

— Благодарю вас. А вы сами далеко изволите ехать?

— В Вознесенский монастырь.

Тут только Гущин улавливает, что одежда девушки слегка пахнет воском, деревянным маслом и ладаном; запах этот вовсе не неприятен. В нем есть холод, умильная тайна и влекущая суровость. Этих тонких оттенков Гущин не постигает. Однако он человек не злой, и ему становится жаль девушку.

— Неужели, простите меня за нескромный вопрос, неужели вы монахиня?

Она слегка вздыхает, чуть-чуть улыбается и снизу вверх, сбоку, быстро взглядывает на Гущина. Глаза у нее большие, ласковые, серые, белки от отблеска зари розовые, точно девушка только что долго плакала, и это придает ее взору интимную кротость. И тотчас же она опускает ресницы. Голос ее звучит полно и мягко:

— Нет! Я не монахиня, а пока только белица[3]. Разговор завязывается, но идет тяжело, нудно, с большими паузами, во время которых Гущин судорожно придумывает вопросы. Девушка только отвечает — коротко, иногда односложно: да, нет. И лишь изредка показывает Гущину свои тихие глаза с четким мраморным узором на сером райке. Во время разговора и он и она не переставая щелкают себя ладонями по лбу, по щекам, по губам. Голодные, злые комары садятся сотнями. Укусы их нестерпимы.

Ее зовут Аграфеной. Но она тотчас же с улыбкой поправляется — Агриппиной. Так велят в монастыре матушки. Говорят, что нет такого христианского имени — Аграфена, есть только Агриппина. А попросту — Груня, как зовут дома. Какая же она Аграфена, когда ей нету и девятнадцати лет? В монастырь пошла не своей охотой — кому же охота? Но она у матери моленная дочка. Мать очень тяжело рожала ее и в муках обещала богу, завещала отдать в Вознесенский женский монастырь. Семья у них, слава тебе господи, зажиточная. Отец не здешний, а из Череповецкого уезда, — Черепан. Зимою строит по

[3] Примечания: 3

Я не монахиня, а пока только белица — то есть готовящаяся к пострижению в монахини.

заказу беляны и расшивы, а летом спускает на Шексну и на Мологу. Нынче старшую сестру выдают замуж за ярославского огородника. Человек непьющий, самостоятельный, только рыжий и немолодой, а уж такой скупующий и въедливый, что прямо сказать нельзя! Из-за каждой копеечки торгуется, как жид. Вот теперь и послали Груню в Рыбное закупать сестре обещанное приданое, иначе рыжий и в церковь не поедет. А из Рыбного ее провожает дядя. Он совсем серый и неграмотный, хотя мастер считать. Он староста в артели грузчиков при самолетных пароходах[4]. Да вот поглядите-ка наискось. Подле трубы.

Гущин поглядел на дядю и сразу почувствовал бессознательное огорчение. Это был мужик необыкновенного роста и чрезвычайной плотности — один из тех полусказочных волжских грузчиков, что способны взнести по сходне без посторонней помощи лошадь или пианино. Лицо у него было большое, длинное и крепкое, строгого и красивого византийского письма; такие лица и теперь еще встречаются в тех северных уездах, где к славянской крови не подмешалась татарская, карельская и мордовская кровь. Слег-

[4] Примечания: 4

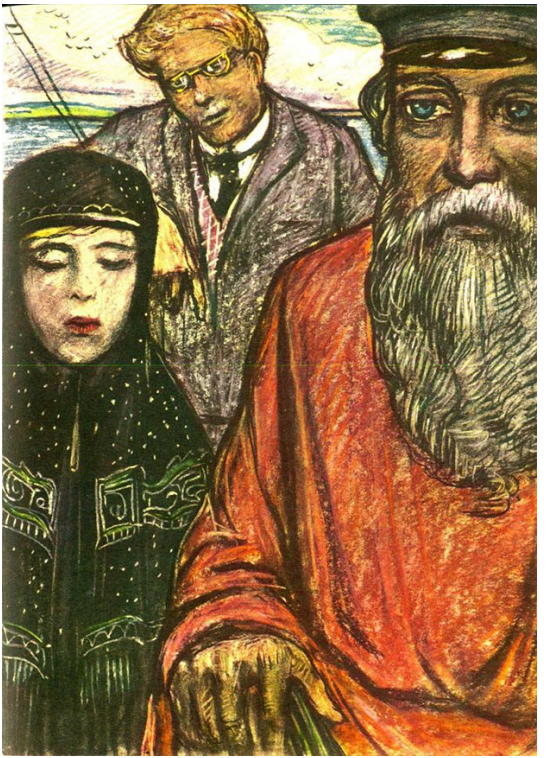
...при самолетных пароходах — пароходы Петроградского общества «Самолет».

ка прищуренные полукругами глаза смотрели добродушно и презрительно. Седые, исчерна, волосы лежали на голове кудлами; седая, с серебряными нитями борода свалялась винтообразно до середины груди. Старик сидел на палубе, на полу, поджав под себя ноги в лаптях, глядел на воду, курил вертушку махорки, кашлял и поминутно плевал через борт. Правая рука лежала у него на коленях, — огромная, костистая, черная, морщинистая, точно выделанная из сосновой коры. «Он похож на доброго разбойника Кудеяра»[5], — подумал Гущин.

И, точно почувствовав, что разговор о нем, старик оглянулся, быстро, одним толчком поднялся на ноги, отчего стал еще необыкновеннее в своих размерах, бросил окурок за борт и, легко и широко шагая, подошел к племяннице.

[5] Примечания: 5

Он похож на доброго разбойника Кудеяра… — Кудеяр — образ народного мстителя в народных преданиях, использованный Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо».



— Аграфена, — сказал он, — иди вниз, чай пить. Нечего рассиживаться.

Если Грунин голос был похож на сладостный тон гитары, то голос дяди звучал подобно самой низкой, сиплой ноте старого, мокрого, простуженного контрабаса.

— Чтой-то не хочется, дяденька, — не спеша, ласково ответила Груня. — Кушайте одни.

— Не хочется — не надо, — сказал старик и на мгновение пристально и равнодушно, как на новый, но неинтересный предмет, поглядел на Гущина. — А то тоже зря болты-болтать нечего. И туман сейчас подымается.

Он повернулся, отошел и стал по трапу спускаться в нижнюю палубу. Постепенно исчезли его массивные ноги, громоздкое туловище и, наконец, живописная лохматая, разбойничья голова.

Груня с легкой улыбкой скользнула по глазам, губам и опять по глазам Гущина.

— Вы не думайте, он не злой, — сказала она успокаивающим тоном. — Только вид имеет такой злодейский, а сам проще овцы. И когда выпьет — смирный-пресмирный. Песни все поет. А уж сколько может выпить — уму непостижимо. Один целую четверть — и хоть бы что. Душа в нем добрая, а за водку все готов отдать.

Гущин помолчал. Мимо парохода шли длинной, звенчатой, изгибистой змеею связанные плоты, каждый в пять-шесть бревен. В узком месте им трудно было разминуться с пароходом. Пароход умерил ход и, наконец, совсем остановился. Сплавщики ловко перебегали с плота на плот и отпихивались длинными жердями то от дна, то от пароходного борта. И все-таки десять последних звеньев, ударившись о нос парохода, оторвались от каравана и повлеклись течением к берегу.

Поднялась знаменитая, изощренная волжская и приволжская ругань. Ругались охрипшими, лающими голосами, мокрые, голоногие, пьяные, обозленные гонщики, ругались в ответ им капитан и его помощник, и оба штурвальные, и все матросы.

Галдела, давая неуклюжие советы, вся третьеклассная публика, свесившаяся через металлические поручни. Кудеяр не показывался наверху.

Должно быть, зрелище для него было слишком мелким, нестоящим внимания.

— Эти шекснинские и моложские — ужас какие охальники, — сказала Груня. Впрочем, она без особенной брезгливости прислушивалась к виртуозной брани.

Наконец, пароход разошелся с плотами и двинулся. Понемногу затихла ругань. Палуба опять опустела. Гущину с трудом удалось преоборотъ в душе ту низменную, жалкую, мутно-зеленую робость, которую внушал ему Кудеяр своей фигурой и страшным голосом. Торопливо проглотив слюну, он заговорил сдавленным, каким-то чужим голосом:

— А что, если бы нам, в самом деле, Груня… извините, что я так фамильярно… Если бы нам попить чайку у меня в каюте? Вы не подумайте, чтобы я что-нибудь… А?

— Ах, нет, как же это можно? Дяденька заругается… К чужому мужчине… Но глаза ее сказали: «Я пойду. Будь настойчивее».

— В самом деле… По крайности, там комары не едят. Это же общая столовая, а не каюта. Каюта отдельно. Понимаете, столовая для общего пользования.

— Уж я, право, не знаю… Неловко как-то…

— Ах, милая Груня, что же тут неловкого? Одни глупые предрассудки. Посидим, побеседуем мирно полчасика и расстанемся добрыми друзьями. А?

— Дядя вот только… — произнесла девушка, нерешительно вставая и озираясь.

— Ну, что такое дядя? — расхрабрился Гущин. — Не съест же он нас живьем. Хотите, и его пригласим?

— Э, нет, лучше уже не надо… Боюсь я все-таки.

— Господи, да ведь ничего особенного. Идемте. Пожалуйте.

Внизу, в столовой, Гущин позвонил пароходному лакею в грязном, вонючем фраке и велел принести две порции чаю с лимоном. Поколебался немного и прибавил: «И пирожных там каких-нибудь и вообще…» Хотел было предложить Груне рыбную солянку или стерлядочку и вина, но испугался, что уйдет на этот кутеж пропасть денег, и не решился.

Груня с удовольствием и со стеснением оглядывала жалкую роскошь салона: обои из линолеума, зеркало в раме поддельного красного дерева, электрическую арматуру, вытертый бархат скамеек и кресел. Все это было из другого, незнакомого, аристократического мира, к которому несомненно принадлежал и Гущин с его вельветиновым пиджачком, пенсне, батистовым галстуком бабочкой и непонятными, приподнятыми оборотами речи.

— Разговор, не вязавшийся на палубе, стал здесь еще тяжелее. Гущин рассказывал о себе, о

писателях, о первых представлениях, о редакциях. Груня внимательно слушала и лишь изредка отворачивалась в сторону, чтобы под углом полумонашеского платка скрыть короткую зевоту, или зевала одними ноздрями, сжав челюсти. Когда же она говорила о скуке монастырской жизни, о долгих церковных службах, о надоевших грибах, снетках, капусте и рыбе, о вышивках золотом и блестками, о хоровом пении, о подозрительности и придирчивости матушек, — скучал Гущин. Он всегда скучал, если говорили не о нем или он не говорил о себе.

Мысль о том, что рядом, в двух шагах, пустая каюта, которую можно запереть, и что во всем помещении второго класса нет, кроме их двоих, ни одного пассажира, — эта мысль была нестерпимо волнующая; от нее холодело и на секунду останавливалось сердце, сладко ныло в животе и в ногах, потели и слабели руки, кружилась голова и по коже бежали щекотливые струйки. Но как приступить? Как это делается? Подсесть поближе? Взять руку? Схватить шутя за грудь? Подойти сзади, сжать двумя руками милую, скромную монашескую головку, отогнуть назад и начать целовать в губы? Пожать под столом ногу? Начать с комплиментов? Заговорить о любви? Рыцарски

предложить к ее услугам свою каюту? Нет, это все казалось невозможным, невероятным, неисполнимым. У других это выходит как-то просто, само собою. Должно быть, есть у них какие-то слова и движения, какие-то особые желания, каких Гущин не знает и к ним не способен. И он все чаще и чаще делал паузы, постукивал пальцами по клеенке стола и тянул бессмысленно: «Да-а-а… так, так, так… угму… да…»

Вдруг тяжелые шаги послышались на ступеньках трапа. Они спускались все ниже и ниже, и казалось, под ними гнулась металлическая лестница. Гущин оторопел, и сердце у него затрепеталось, как живой воробей, взятый рукою. Дверь открылась. Наклонив голову, чтобы не стукнуться, вошел в столовую Кудеяр, большой и несуразный, точно слон, введенный в комнату.

— Ты что же это шляешься по каютам, мокрохвостая! — загудел он своим сиплым басом, густо переполнившим салон. — Нашли место, где чаи распивать. Марш! Ходу наверх. Вот скажу отцу… Он те раскочетит.

Гущин, мучительно бледнея, привстал и, точно в обмороке, залепетал:

— Послушайте… вы, может быть, думаете?.. Ни с какой стати… Как честный человек… Позвольте

представиться… Ничего подобного.

Обессилев мгновенно, он опустился в кресло и продолжал сбивчиво бормотать:

— Позвольте представиться… Известный русский писатель. Гущин моя фамилия… Позвольте пожать вашу честную рабочую правую руку… Может быть, чайку… Милости…

— Гунявый! — крикнул Кудеяр звериным голосом, и его прищуренные глаза вдруг страшно раскрылись. — Убью.

В смертельном ужасе Гущин закрыл глаза и втянул в себя шею. Он каждым своим нервом, всем существом понял, что это чудовище может оторвать ему руку или ногу, расплющить голову, исковеркать все тело или просто убить с тем же легким чувством, как он убивал на своей огромной корявой руке комара.

Но Кудеяр инстинктом понял весь насекомый страх, переполнявший душу писателя, и гнев его отошел. Он сказал только, обращаясь к Груне, презрительно:

— Нашла тоже кусок г…!

И осторожно, соразмеряя свою необъятную силу с незначительностью сопротивляющейся массы, он хлопнул Гущина ладонью по затылку. У того ляскнули зубы, больно прикусив язык;

подбородок, ударившись в чайное блюдечко, разбил его вдребезги, а в зажмуренных глазах известного писателя запрыгали красные звезды, заплавали лазоревые озера…

Через час Гущин осторожно прокрался наверх, на палубу. Пароход только что миновал пристань Лямь. Чуть ущербленный стоял над головой, на безоблачном небе печальный месяц. Плоские берега были темны, и кусты на них точно прятались, пригнувшись к земле. По воде бродили разорванные туманы. Поручни, скамейки, канаты были мокры и серы от росы. Пахло утром. Петухи в деревне хрипло перекликались. Дежурный матрос лениво выпевал на носу:

— Шесть с половиной… Ше-есть… Полнаметки…

На том же месте, где и раньше, сидела девушка в черном монашеском платье. Но, увидав ее, Гущин с чувством страха и жгучего стыда поспешно возвратился вниз, в каюту.

Он долго не мог заснуть. В тесном помещении было душно и жарко, противно пахло смазными сапогами, селедкой и зловонной дешевой жирной пудрой. И хотелось Гущину плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый и что нет

у него ни воли, ни желаний. Притом снились ему его недавние вагонные разговоры о себе и о писательстве, и стало ему так колюче совестно, как это бывает только ночью, в одиночестве, во время бессонницы.

Утром лакей постучал в дверь: «Подходим к Весьегонску, — сказал он и добавил со скверной улыбкой. — Хорошо ли почивать изволили?» Гущин ничего не ответил и дал ему двугривенный, который тот принял без благодарности. Наверху уже не было ни Груни, ни Кудеяра. Они сошли раньше на пристани Вознесенской.

1916

Примечания

Впервые — в журнале «Огонек», 1916, № 26, 26 июня, с иллюстрациями В. Сварога. Подготавливая рассказ для IX т. собрания сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», А. И. Куприн внес в него много стилистических исправлений.

Считая его одним из самых значительных произведений IX тома, он выражал желание, чтобы на обложке тома было помещено «изображение простой русской девушки, какую он вывел в своем рассказе» (Письмо Д. М. Ребрика к художнику П. Е. Щербову от 25 февраля 1917 года. ЦГАЛИ).

Печатается по последнему редактированному автором тексту, вошедшему в сборник «Елань», Белград, 1929.

В своих газетных интервью, критических статьях, лекциях и письмах Куприн осуждал современных литераторов за их индивидуалистическую замкнутость, равнодушие к судьбам народа и общественным вопросам. «Писатели мало переживают, ничего не видят, сидят в своем углу… Они не умеют передать глубоких душевных движений, духа предметов, явлений, лиц,

потому что не знают их…» — сказал он в одной из бесед с журналистами («Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, №№ 10552, 10553, 13, 14 июня).

Иронически отзывался Куприн и о претенциозных подзаголовках, вроде «эскиз», «силуэт», «ноктюрн», которые любили давать декаденствующие писатели своим произведениям (см. его рецензию на книгу Н. Брешко-Брешковского «Шепот жизни», «Мир божий», 1904, № 6).

Эти мысли писателя отразились в сатирическом образе героя рассказа — декадентствующего литератора Гущина.

В рассказе широко используются диалектные слова и выражения. Внимание к ним издавна было характерно для Куприна. В очерке о Куприне критик Петр Пильский приводил собственное признание писателя:

«А то есть еще слово: «елань». Это — залив в лесу. И «ильмень» вовсе не имя собственное, а нарицательное и означает всякое одинокое озеро. В средней России распространено слово «чичер» — мелкий дождик. Такими словами и выраженьями я целую книжку исписал за одно лето»

(П. Пильский. Критические статьи. Т. 1. СПб. 1910. Стр. 95–96).

Описанные в «Груне» места (Рыбинск, Чисково, Иловня, Вознесенская, Весьегонск) были знакомы Куприну по ежегодным поездкам (в 1906–1911 гг.) из Петербурга в Даниловское, Новгородской губернии, в имение проф. Ф. Д. Батюшкова.